

Оттепель (Отступление третье)

В 1954 году, вслед за целиной пришлось отцу браться за дела идеологические. Ранее в них он особенно не вникал, все эти *ИЗМЫ* его мало интересовали, шубы из них не сошьешь. Теперь он стал «Первым» и идеологи: Суслов, Пospelов, Шепилов ждали его указаний. Отец и сам понимал: отдать им на откуп идеологию опасно, таких дров наломают – потом не расхлебашь. Расхлебывал он по-своему, по-хрущевски, его отношения с литераторами и прочими творческими людьми радикально отличались от сталинской манеры общения.

Сталин любил поиграть с писателями в кошки-мышки. За собой он, естественно, оставлял роль кошки: звонил им по ночам домой, вел двусмысленные, казалось бы, спонтанные, разговоры, на полуслове бросал трубку, а потом, читая сводки агентуры, наслаждался

смесью страха с надеждой, в которую впадали его «мышки». До сей поры литераторы и литературоведы с придыханием вспоминают о нашумевшем звонке Сталина поэту Борису Пастернаку, когда вождь «пожурил» за то, что он не вступился за арестованного Осипа Мандельштама, написавшего удивительный по тем временам антисталинский стих, помните: «его пальцы, как черви»... Сталин попенял тогда, что поведение Пастернака трусливое, небольшевистское, и бросил трубку. Понимай как знаешь. А звонок Сталина самому Мандельштаму накануне ареста?!

А чего стоит телефонный разговор вождя с великим писателем и драматургом Михаилом Булгаковым? Как он «сопереживал, что не в силах помочь ему ни с работой, ни с выездом за границу, а потом неожиданный совет еще разок попытать счастья в Художественном театре». Что ни звонок, то новелла с круто закрученным сюжетом, то ли Достоевский, то ли Кафка.

К разговорам Сталин готовился тщательно, времени не жалел, тратил часы, а порой дни на изучение крамольных произведений и сопутствующих им скандалов. Наносил удар точно, всегда в болевую точку, как оса-наездник жалит свою жертву. Только оса парализует своим жалом гусеницу или кузнечика, чтобы предоставить пищу потомству, а Сталин жалил своих «верноподданных» ради удовольствия, ему было приятно наблюдать за их мельтешением. Насладившись, вождь или приказывал «убрать» надоевшую ему жертву, или, что реже, отпускал на «волю», по-кошачьи разжимал когти, зная, что мышка никуда не денется.

Эта игра не только забавляла Иосифа Виссарионовича, но и приводила в благоговение перед ним, чего я никогда не мог понять, его жертв – писателей и поэтов. Пастернак писал проникновенные стихотворные панегирики Сталину не по принуждению к юбилею, а по зову сердца («Мне по душе строптивый норв. . .»). Булгаков взялся за сочинение пьесы «Батум» о молодом революционере Сталине, произведения, по всем меркам, более чем пресмыкательского. И писал он пьесу тоже не по заказу, а от души. Сталин же запретил к постановке, посчитав, что драматург, занявшись описанием его внутреннего мира, залез туда, куда посторонним соваться заказано.

Так уж установилось – они «его писатели», а он их единственный «настоящий» читатель и ценитель. Подобные отношения складывались в семнадцатом веке между великим драматургом Жаном Батистом Мольером и его повелителем – французским королем-солнцем Людовиком XIV. Так то происходило три столетия назад, а теперь на дворе век двадцатый.

Жизнь «творческой» интеллигенции неотделима от столкновения амбиций, открытого, а чаще – скрытого подсиживания в конкуренции за благосклонность властей, в стремлении заручиться их поддержкой в борьбе с собственными оппонентами. Сталин хорошо разбирался в их «творческой кухне», она мало чем отличалась от его «политической». Он сам любил состряпать блюда «с перчиком». В писательские склоки он встревал охотно и с удовольствием.

Отцу и в голову не приходило затевать какие-либо игры с доставшимися ему в наследство от Сталина «инженерами человеческих душ». Унижение человеческого достоинства, страх не только не доставляли ему удовольствия – это претило всей его природе. И время он предпочитал тратить на другое. В стране столько нерешенных проблем, народ не накормлен, разут, раздет... Тут не до игр. На взаимоотношения с писателями, художниками и всеми прочими гуманитариями отец смотрел утилитарно-прагматично: мы делаем общее дело, служим народу, так давайте его делать сообща. Все же остальное: амбиции, гениальность, претензии... В эти дрызги отец старался не лезть, но не получалось. Писатели его манеру поведения восприняли настороженно. Своей открытостью, отсутствием «второго дна» отец представлялся «интеллектуалам» примитивным. Неумение и, главное, нежелание покруче «завернуть сюжет» тоже ему не прощали. Они говорили на разных языках.

Теперь, когда Сталина не стало, «творческие» интеллигенты по привычке обращались к отцу за поддержкой, ждали от него одобрения своих произведений и, как следствие, наград. Отец же на роль судьи тогда не претендовал, старался сохранять дистанцию. Не то что он не имел предпочтений – имел, как и все мы. Отец читал и классику, и литературные новинки, но только по мере возможности, урывками, когда выдавался свободный вечерок. А выдавался он не часто, время поглощали деловые бумаги, проекты постановлений, докладные министров, шифровки послов, донесения разведки, наши и зарубежные газетные публикации, статьи по агрономии, новым строительным технологиям, химическим и иным производствам. До литературных толстых журналов руки доходили в последнюю очередь. Таков удел всех занятых людей, политических деятелей, руководителей крупных корпораций, я не говорю уже об ученых. Все они стоят перед выбором: или дело, или все остальное. И у всех, по крайней мере, у преуспевающей части, дело на первом месте. Попадают, естественно, исключения – физики, увлеченные поэзией, или математики – историей. Но эти увлечения даром не даются, что-то при этом теряется. Так уж мы все устроены.

Когда читаешь, как много времени Сталин уделял художественной литературе, проблемам языкознания, философии, то сразу зарождается вопрос – за счет чего?

Нельзя объять необъятное – либо то, либо другое. Так или иначе, Сталин любил читать художественную литературу и посвящал чтению немалую часть своего времени. Он следил за всеми новинками, а потому установил своеобразную практику формирования и пополнения собственной (а затем распространил ее и на всех членов Политбюро) «домашней библиотеки», издал распоряжение: присылать на дом по одному экземпляру *всех* выходящих в стране книг, от толстых романов и научных трактатов до ведомственных инструкций. Два раза в неделю фельдъегерь доставлял и сваливал у нас в прихожей упакованные в плотную коричневую бумагу пачки книг. На каждой – типографская этикетка: «Товарищу Н. С. Хрущеву». Не знаю, как поступали Сталин, Молотов или Микоян, но отец распаковывал пачки, исследовал содержимое, отмечал книги по своему вкусу, а остальные отсылал назад. Чтобы вместить содержимое всех книжных пачек, потребовалось бы помещение, сравнимое с крупной библиотекой. Далее отобранные книги заполняли в резиденции нескончаемые ряды так называемых шведских шкафов, с откидывающимися наверх застекленными дверцами. В отличие от казенной мебели, книги считались собственностью их пользователя. Остатки отцовской библиотеки, то, что не разошлось по родственникам и друзьям, хранятся на моей подмосковной даче.

И тем не менее, несмотря на всю занятость, отец, по мере возможности, держался в курсе культурной жизни. Он регулярно, даже мне трудно сейчас поверить, не реже раза в неделю ходил в театры, отдавая предпочтение опере и драме перед балетом, посещал концерты, классические и фольклорные, не пропускал ни одной художественной выставки. Театральные режиссеры и авторы спектаклей в антрактах, художники и скульпторы на выставках делали все, чтобы обратить на себя внимание, добиться одобрения. Даже простой поощрительный кивок дорогого стоил. Отец отнекивался, старательно уходил от оценок, объяснял, что он всего лишь зритель. К сожалению, в его положении не всегда удавалось сохранить нейтралитет.

В тех случаях, когда прочитать или посмотреть новинку времени не доставало, отец полагался на мнение экспертов, на заключения отделов ЦК. Тем самым, подписывая заранее заготовленные резолюции, он становился заложником чужого и даже чуждого ему мнения. К примеру, 15 января 1954 года он согласился с редактором «Правды» Дмитрием Шепиловым, отказавшим писателю Михаилу Шолохову в просьбе опубликовать отрывки из второго тома романа «Поднятая целина» из-за «насыщенности натуралистическими сценами и даже явно эротическими моментами». Когда через пару лет, напросившись к отцу в гости, Шолохов прочитает ему эти отрывки, он придет в недоумение, что там Шепилову примерещилось?

А вот еще один пример. 3 мая 1954 года поэт Александр Твардовский прочитал на редколлегии возглавляемого им тогда журнала «Новый мир» свою новую поэму «Теркин на том свете». Собратьям-литераторам поэма не понравилась. Они дружно набросились на Твардовского, норовя куснуть его побольнее. В ЦК, к отцу посылались доносы. «Первой пожаловалась в ЦК Мариэтта Шагинян, – записал в своем дневнике Владимир Лакшин, свидетель происходившего, друг Твардовского и его заместитель по журналу. – Забегал Алексей Сурков – секретарь Союза писателей. Поэму “Теркин на том свете” они представили как антисоветский выпад. Член редколлегии журнала Валентин Катаев испещрил поля верстки грозными вопросительными знаками и восклицаниями: “На что это намек?” И Катаев не одинок.

...Симонов сказал, что “загроббюро” – это явный намек на Политбюро. Твардовский ему горячо возразил: “Да ведь у меня разбирается персональное дело, а на Политбюро их не разбирают”. “Не лукавь, – настаивал Симонов, – ты знаешь, что имел в виду”».

Перепуганный Сурков побежал в ЦК к Пospelову... Началось разбирательство. Секретарю ЦК Пospelову стихи показались «пасквилем на советскую действительность». Так он и доложил отцу.

«Хрущева, – по мнению Лакшина, – испугала и возмутила строфа, где генерал говорит, что вот бы ему еще полчок солдат – потеснить царство мертвых... Это восприняли как угрозу». Кто воспринял, Лакшин не уточняет. Отец поэмы не читал. Твардовский прислать ее не догадался. Значит, речь шла о какой-то справке отдела ЦК.

Твардовский, в свою очередь, написал отцу, объяснил, что его поэма написана «в победительном, жизнеутверждающем духе осмеяния “всякой мертвячины”, уродливостей бюрократизма, формализма, казенщины и рутины, мешающих нам, затрудняющих наше продвижение вперед».

Отец любил стихи Твардовского, помнил наизусть целые куски из его поэмы о Василии Теркине. Он пригласил Твардовского в ЦК, они поговорили, кажется, друг друга поняли.

К тому времени «Дело Твардовского» уже набрало обороты, «в самую июльскую жару Союз писателей собрал обсуждение. Проработка шла по полной форме. Сурков, распаляясь, кричал: “Я знаю, все это возрождение групповщины вокруг Твардовского!” Одна за другой в газетах появлялись статьи...»

В таких условиях отец не захотел из-за Твардовского ссориться ни с идеологами, ни с писателями, становиться на его сторону и тем самым противопоставлять себя писательскому «большинству». Он вынес заявление Суркова на заседание Секретариата ЦК. Пригласил туда и Твардовского. Но тот, по свидетельству Лакшина, «затосковал, занедужил (то есть запил. – С. Х.) и объявил, что на экзекуцию не пойдет». И не пошел, «рано утром выскользнул из дома и исчез». Заместитель Твардовского по журналу поэт Андрей Дементьев «потом уверял, что, если бы Твардовский присутствовал, дело могло повернуться иначе. Хрущев говорил о нем уважительно и примирительно».

«Рассказывают, что на Секретариате ЦК 23 июля 1954 года Хрущев сильно наподдал тем, кто жаждал крови, – продолжает Лакшин, – сказал, что с Твардовским нельзя так обращаться, как вы предлагаете, что другого такого у нас нет, что ним нужно возиться. И вообще, говорил за битого двух небитых дают!»

Тем не менее, поэму отставили. Ее опубликуют только в 1963 году, после того, как Твардовский сам прочитает ее вслух Хрущеву. Я еще напишу об этом подробно.

Несмотря на примирительную позицию, «писательское большинство» победило, «17 августа 1954 года публично объявили об уходе Твардовского из “Нового мира”». Журнал перешел в руки другого поэта, Константина Симонова. В портфеле редакции в наследство от Твардовского ему достался роман Владимира Дудинцева “Не хлебом единым”. Мечась и колеблясь, Симонов напечатал его... Потом ему этого не простили».

Тут Лакшин ошибается. Насколько я помню, главного редакторства в «Новом мире» Симонов лишился не из-за Дудинцева и не за свою радикальность, а совсем наоборот – из-за Сталина, из-за своего сталинизма. Симонова уволили, а в «Новый мир» вернулся Твардовский.

Общепризнано, что «хрущевский ренессанс» ознаменовался повестью Ильи Эренбурга «Оттепель», напечатанной в майском номере толстого журнала «Знамя», а в октябре 1954 года вышедшей тоненькой, 140-страничной, книжицей. С легкой руки Эренбурга «оттепелью» стали называть все десятилетие реформаторства Хрущева, период его нахождения у власти, с 1953 по 1964 год. Не могу сказать, знал ли сам Эренбург, человек эрудированный и начитанный, что своей «Оттепелью», он вторил поэту Федору Ивановичу Тютчеву, обратившемуся в XIX веке с тем же определением к другому реформатору, царю-освободителю Александру II. Вот только «оттепель» Тютчева не прижилась в истории, не выдержала заморозков царствования Александра III и Николая II, а «оттепель» Эренбурга в людской памяти укоренилась.

О чем пишет Эренбург в той повести, сейчас мало кто помнит, ее сюжет целиком растворился в заглавии. Я помню, или мне кажется, что помню, как в повести спорили все, и на каждой странице, что-то обсуждали, чем-то восхищались, кого-то ругали, но о чем конкретно шла речь, совершенно выпало из памяти. Наверное, потому, что содержательного в ней практически и не было. Скорее всего автор, мастер аллегорий, так и задумывал.

Написав эти слова, я решил заново перечитать «Оттепель». Ничего интересного, а тем более крамольного в ней не оказалось, как и ничего запоминающегося. Обычная бытовая история тех лет: безымянный городок, завод, борьба за мир, неурядицы в личной жизни героев, то жена не ладит с мужем, то жених с невестой. Стоп. Подобные семейные «вольности» шли вразрез со сталинской философией бесконфликтности, допускавшей на страницы книг лишь противостояние «хорошего» с «лучшим» и никаких проблем, даже семейных. Так что Эренбург проявил тут некоторое, пусть бытовое, но вольнодумство. И еще через весь текст проходит тема холода, стылости, неживучести: «Дыхание, кажется, леденеет...», «Мороз снова крепкий...», «Снег, ничего, кроме снега...», «Ночью будет тридцать пять...». Только в конце над городком проносится сносящая все на своем пути буря, и «зима дрогнула, снег тает, потекли ручьи». Тут герой книги произносит главную фразу: «Вера, вот и оттепель...»

Воистину Эренбург не только литератор, но и отменный политик. Попал в самую точку, сказал слова, которых все ждали. Правда, хронологически оттепель в литературе началась не с майской, 1954 года «Оттепели» Эренбурга, первую проталину в декабрьскую стужу 1953 года протопила статья В. Померанцева «Об искренности в литературе», напечатанная еще при Твардовском, в последнем, двенадцатом номере «Нового мира». Сейчас невозможно и вообразить, что всего лишь робкое суждение о том, что в нашем мире еще не все прекрасно, не все «розово», вызвало бурю эмоций. Что тогда началось! Особенно негодовали классики «сталинской» литературы, которых Померанцев обозвал «лакировщиками действительности». Они обвиняли автора статьи в идеологической и даже государственной измене. Их антиподы в литературе к «лакировщикам» себя не относившие, напротив, превозносили Померанцева до небес. Отца слово «лакировка» применительно к нашей действительности покорило, и он присоединил свой, весьма весомый голос к хору критиков Померанцева.

В декабре 1954 года отец, впервые в качестве первого лица, встретился с писателями в ЦК. Собирался первый после почти двадцатилетнего перерыва, Второй съезд советских писателей, и Шепилов уговорил его выступить с «напутственной» речью. Потом отец выступал и на самом съезде. Своим выступлением он не потрафил ни «ортодоксам», ни «либералам». С позиций одних, он слишком отпускает вожжи, другие посчитали, что отец недостаточно решителен. И те, и другие правы. Отец искренне желал освобождения мысли,

но как политик понимал, что один неверный шаг может превратить оттепель в наводнение, в поток, который сметет на своем пути и дурное, и хорошее, в нем захлебнутся и те, кто ратовал за перемены, и те, кто им противился. Такова судьба всех реформаторов, вспомним хотя бы императора Александра II. Его винили в «преступных» намерениях разрушить вековой российский уклад, и одновременно – в нежелании преобразовывать Россию по поэтически-революционным лекалам либерально настроенной части общества. Против него ополчились левые и правые, разночинцы и помещики, революционеры и придворная знать, террористы и полиция. Чем все это закончилось? Мы хорошо знаем. «Поэт в России – больше, чем поэт», – скажет через несколько лет никому в 1954 году еще неизвестный Евгений Евтушенко.

В российском авторитарно-подцензурном обществе поэт, будь то Александр Пушкин или Александр Твардовский, не столько поэт, сколько трибун, политик. Политик, ведомый зовом сердца, а не холодным расчетом разума. Это очень опасно, если от поэта, его настроения, его эмоций зависят судьбы народа и государства. Эмоции проходят, восторги сменяются разочарованием, но содеянного уже не вернешь. Поэт – существо безответственное, он пропоет свою песню и упорхнет. Политикам же не упорхнуть, они ответственны за будущее и обязаны повседневно ощущать эту ответственность.

Вот отец и разрывался между зовом сердца и ограничениями, определявшимися состоянием общества, общества, не знавшего свободы ни при царях, ни при генеральных секретарях. Он не раскачает лодку государственности, но и не успеет привести ее в гавань демократии. На первое у него хватит прагматичности политика, а на второе – не достанет времени. Такова его участь и, наверное, предназначение.

К рассказу об идеологических баталиях тех лет на высшем уровне добавлю кое-что из собственных, юношеских впечатлений. Помню, как еще школьником, году в пятидесятом или пятьдесят первом, я решил прочитать все особо значительные произведения литературы, классической и современной, благо библиотека отца насчитывала несколько тысяч томов. С классикой особых проблем не возникло, правда, я намучился с французским, щедро рассыпанным Львом Толстым по страницам «Войны и мира». Мне то и дело приходилось заглядывать в довольно неуклюжий перевод внизу каждой страницы. А вот на современной литературе меня застопорило. По сей день помню мучения, с которыми я продирался сквозь «Кавалера Золотой звезды» Семена Бабаевского и «Белую березу» Михаила Бубеннова. Страницы никак не хотели дочитываться, меня то клонило в сон, то мысли уводили в лес или на волейбольную площадку, лишь бы подальше от занудного текста. Мысли приходилось водворять на место, а они снова норовили улизнуть. Книги я дочитал до конца, а потом долго корил себя ущербностью – авторы получили Сталинские премии, их произведения признаны лучшими, почти классическими, а я никак не могу дорасти до их понимания. После Сталина критика исключила «Кавалера» из «шедевров» литературы, и я чуть приободрился.

На склоне лет я снова оказался в положении нерадивого ученика. Никак не читался «зрелый» Василий Павлович Аксенов. В «Московской саге» я с трудом осилил страниц сто пятьдесят, потом промелькнула мысль, зачем я себя мучаю? С Василием Павловичем я уже лет двадцать как потерял контакт, моим мнением он не поинтересуется, и мне не придется кривить душой. Через какое-то время я взялся за «Скажи изюм» и с огорчением остановился в самом начале – не читалось, как не прочиталась и книжка его воспоминаний. На этом я решил больше себя не мучить, задвинул книги на полку и забыл о них.

Вновь задуматься о феномене Аксенова меня побудили критические статьи, причислявшие произведения Аксенова к шедеврам, а автора к классикам литературы. Снова, как в случае с Бабаевским, мои ощущения разошлись с оценкой специалистов.

Так в чем же дело? Проблема Аксенова (и не одного Аксенова), как мне видится, в том, что, начав с хороших книжек «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», «Пора, мой друг, пора», которые читаются с прежним интересом, автор переключился на «политику», из просто писателя, превратился в писателя-проповедника. Пишет он все правильно, но очень уж скучно. Сегодняшний Аксенов напоминает мне резонера времен моей молодости Всеволода Анисимовича Кочетова. Он тоже писал правильные по тем временам романы, учил нас, читателей, как, по его мнению, следует жить, предостерегал от ошибок. По его книгам снимались не менее правильные кинофильмы и телесериалы. Вот только книги Кочетова не читались, фильмы не смотрелись, а теперь о нем уже и вовсе забыли.

Все это закономерно: увлекшись проповедью, писатель незаметно теряет то, что можно назвать писательством. И дело тут не в личных качествах или талантах Кочетова и Аксенова. Вслед за Кочетовым ушли в небытие: Федор Гладков с его романом «Цемент», Александр Корнейчук с пьесой «Фронт» и немалое число иных «бессмертных» проповедников.

Мне по-читательски обидно за писателя Аксенова.

День за днем

4 июля члены Президиума ЦК посетили выставку товаров, производимых в ГДР. Отец обожал ходить на выставки, и публикации о таких посещениях появлялись в газетах регулярно. На сей раз удивило не само посещение, а порядок перечисления фамилий членов Президиума, они шли по алфавиту, отец замыкал список.

Тем вечером в Посольстве США в Москве давали прием в честь Дня независимости. Ни отец, ни другие руководители его ранга прием своим присутствием не почтили. Время пока не пришло.

Тогда же, 4 июля, газеты объявили конкурс на проект пантеона. Сооружать его собирались в трех с половиной километрах к югу от нового здания Московского университета. Туда намеревались перенести покойников из Кремлевской стены и с Красной площади, а в будущем – именно в пантеоне (на манер Парижа) хоронить достойных россиян. В ответ на мои дотошные расспросы, почему пантеон решили строить где-то на окраине, отец сказал, что с одной стороны, Москва постепенно перемещается к юго-западу, и окраина за университетом со временем станет почти центром, с другой... Он замолчал, как бы колеблясь: говорить – не говорить, но потом решил сказать: с другой, это секрет, в том месте уже некоторое время сооружается огромное бомбоубежище, где укроется правительство в случае ядерной войны. Оттуда оно будет управлять страной. Над этим убежищем и решили соорудить пантеон.

Я уж не знаю, кому пришла в голову мысль разместить оба объекта, правительственный бункер и пантеон, в одном месте. Или это черный юмор? На крайний случай и пантеон под рукой, то есть над головой. Или посчитали, что враги не сочтут подобное сооружение достойной целью для атаки, а что расположено под ним – не дознаются. Или просто органы безопасности сочли экономным совместить оба спецобъекта в одном месте? Не знаю.

Но пантеон так и не построили. Сейчас на том месте – новая библиотека МГУ, возводится элитный жилой комплекс. А подземный бункер не только выкопали, но и впоследствии соединили специальной веткой

метро с Кремлем. В случае чего – спускаешься из своего кабинета на лифте, и через несколько минут...

18 июля объявили о восстановлении совместного обучения в школах мальчиков и девочек. У юных граждан это решение вызвало всеобщее ликование. Даже мы, студенты, на которых были ограничения раздельного обучения уже не распространялись, пришли в восторг. Еще пару лет тому назад мы могли посещать вечера в женских школах лишь под присмотром преподавателей и только по большим праздникам. Конечно, это все в теории, но и теория давила на психику.

С чего Сталину пришла идея раздельного обучения, я так и не дознался. Скорее всего, с возрастом его все больше тянуло к старине. Ввел же он мундиры для чиновников всех мастей, от дипломатов до делопроизводителей в министерствах.

Отец рассказывал, как за одним из обедов Сталин заговорил об учреждении советских дворянских титулов, но не получив поддержки даже от готового на все Кагановича, больше к этой идее не возвращался.

19 июля 1954 года газета «Известия» написала о полярных станциях, дрейфующих в Северном Ледовитом океане. Первую такую экспедицию высадили на льды вблизи Северного полюса еще в 1937 году. Ученые наблюдали за погодой, за движением льдов, за соленостью воды. О каждом дне жизни «отважных полярников» рассказывали газеты. Во время войны было не до полярных станций, а в послевоенные годы исследования Арктики строго засекретили. Сталин придумал строить на ледяных полях аэродромы и с них, в случае войны, бомбить Америку. Ученым предписали досконально исследовать ледовые массивы, отобрать те, где можно соорудить постоянные взлетные полосы и сопутствующие им сооружения. Теперь от бредовой сталинской затеи отказались, исследования Арктики вновь стали просто научными исследованиями, и о жизни на полярных станциях разрешили писать без грифа «Секретно».

18 сентября 1954 года дала первый ток Камская ГЭС.

1 декабря в Ленинграде на улице Пржевальского, дом 10 открылся первый в стране магазин самообслуживания.